



**Р. В. Иезуитова**

## **«УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ» ПУШКИНА**

«Утаенная любовь» Пушкина принадлежит к числу величайших и все еще не разгаданных загадок пушкиноведения. Обращаясь к этому удивительному литературному феномену, мы вступаем в «тайное тайных», глубоко сокровенную жизнь Пушкина, касаемся тех ее сторон, которые помогают понять и осмыслить самые яркие и романтически возвышенные шедевры его поэзии.

Пушкин оставил немало лирических признаний о сильной и мучительной страсти, пережитой им в молодые годы, для которой нашел емкую поэтическую формулу «утаенная любовь». В черновиках «Посвящения» к «Полтаве», воскрешая в памяти прекрасный женский образ, вдохновлявший его в годы юности, Пушкин писал:

Иль — посвящение поэта  
 Как утаенная любовь —  
 Перед тобою без привета (?)  
 Пройдет — непризнанное вновь...

(V, 322)

Мотив «утаенной любви» впервые появляется в лицейской лирике:

Счастлив, кто в страсти сам себе  
 Без ужаса признаться смеет,  
 Кого в неведомой судьбе  
 Надежда робкая лелеет...

(I, 208)

Эти элегические строки содержат намек на сильную, но по неизвестным читателю причинам скрываемую от окружающих страсть, не оставляющую юному возлюбленному никаких надежд:

Но мне в унылой жизни нет  
 Отрады тайных наслаждений;  
 Увял надежды ранний цвет:  
 Цвет жизни сохнет от мучений!

(I, 208)

«Эту безнадежную страсть, в которой поэт не может сам себе признаться без ужаса, комментаторы по инерции приписывают все той же „литературной“ героине лицейских элегий Е. П. Бакуниной», — замечает Ю. Н. Тынянов, считающий, что для этого нет достаточных оснований. Отказ рассматривать Е. П. Бакунину (сестру лицейского товарища Пушкина) в качестве адресата этих строк становится для исследователя отправной точкой в поисках «безымянной любви» Пушкина, которую он связывает с юношеской влюбленностью поэта в старшую по летам Е. А. Карамзину (жену писателя) — платоническую любовь к ней Пушкин, по мнению Тынянова, пронес через всю свою жизнь<sup>1</sup>.

Впрочем, к моменту выхода из печати статьи Тынянова было уже сделано немало попыток назвать имя той женщины, которая была «утаенной любовью» поэта. Напомним основные вехи работы, проделанной пушкинистами в этом отношении.

«Не подлежит никакому сомнению, — пишет М. О. Гершензон, первым осознавший самостоятельное значение проблемы «утаенной любви», — что Пушкин вывез из Петербурга (речь

<sup>1</sup> См.: Тынянов Ю. Н. «Безымянная любовь» Пушкина // Лит. современник. 1939. № 5—6. С. 243—362.

идет о ранних петербургских годах. — *Р. И.*) любовь к какой-то женщине и что эта любовь жила в нем еще долго, во всяком случае — до Одессы. Он говорит о ней с ясностью, не оставляющей места никаким толкованиям»<sup>2</sup>. В качестве примера исследователь приводит строки из элегии «Погасло дневное светило...» (1820), видя в них отражение реально пережитых поэтом чувств:

Я вспомнил прежних лет безумную любовь,  
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,  
Желаний и надежд томительный обман...  
(II, 146)

Чувства эти, считает Гершензон, вызвала у поэта прелестная внучка знаменитого Суворова Мария Аркадьевна Голицына, с которой он не раз встречался в высшем петербургском свете после окончания Лицея. Высланный из Петербурга, Пушкин не мог не знать о том, что Голицына была обручена со своим однофамильцем, князем М. М. Голицыным: их свадьба состоялась 9 мая 1820 г. Талантливая певица-любительница и тонкая ценительница поэзии, Голицына, вне всякого сомнения, оставила след в душе поэта («в сердечной глубине»): воспоминания о ней отразились в адресованном ей мадригале «Давно об ней воспоминанье...» (1823) с весьма знаменательными строками:

Я славой был обязан ей —  
А может быть и вдохновеньем.  
(II, 303)

Но прежде чем обратиться к более детальному рассмотрению версий «утаенной любви», выдвинутых не только Гершензоном, Тыняновым, но и другими видными пушкинистами<sup>3</sup>, обозначим, хотя бы приблизительно и, разумеется, неполно, круг произведений Пушкина, которые в сознании исследователей связываются с «утаенной любовью» (ибо круг этот не только уточ-

<sup>2</sup> Гершензон М. О. Северная любовь. А. С. Пушкина//Вестн. Европы. 1908. Янв. С. 285.

<sup>3</sup> См.: Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина//Пушкин и его современники. СПб., 1911. Вып. XIV. С. 53—193; Гроссман Л. П. У истоков «Бахчисарайского фонтана»//Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. III. С. 49—100; Цявловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман»//Прометей. М., 1974. Вып. X. С. 12—84; Макогоненко Г. П. «...Счастье есть лучший университет»: Poleмические заметки об издании любовной лирики Пушкина//Нева. 1974. № 5. С. 178—188. «Утаенную любовь» Пушкина связывали и с демонической красавицей Каролиной Собаньской (см.: Яшин М. И. «Итак, я жил тогда в Одессе»//Нева. 1977. № 2. С. 100—143).

няется, расширяется, но и постоянно меняется). Мы ограничимся при этом лишь очевидными, бесспорными, сознательно ориентированными на некую любовную «тайну» и предполагающими широкое использование намеков, недосказанности, полупризнаний и других средств создания атмосферы суггестивности текста<sup>4</sup>. Следует к тому же иметь в виду, что эпитет «тайный» в лирике Пушкина довольно часто сопровождает описание любовного переживания (такой была этика любовного чувства в его время), однако мы имеем в виду «тайну» совершенно особенного свойства. Так, в цитированной выше элегии «Погасло дневное светило...» «изменницы молодые», внушившие поэту поверхностные, мимолетные чувства, названы «подругами тайными», хотя поэт вовсе не скрывает этих чувств, а затем и отрекается от них. Иное дело та, единственная избранница, вызвавшая у поэта чувство глубокое и истинное. Не только облик ее, но и самое ее имя окутаны атмосферой таинственности. Посвященные ей поэтические строки по существу не несут никакой информации об этой женщине: на первый план выступают переживания самого поэта. Контраст «безумной любви» и легких мимолетных увлечений составляет стержень элегии 1820 г., на нем основана ее композиция. Подлинное чувство предстает в ней долговечным и неистребимым, мимолетные увлечения оцениваются как легковесные и даже поочные заблуждения:

И вы забыты мной, изменницы молодые,  
Подруги тайные моей весны златая,  
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,  
Глубоких ран любви, ничто не излечило...  
(II, 147)

Элегия «Погасло дневное светило...» дает законченный, классический пример лирической разработки темы «утаенной любви», которая начиная с 1820 г. становится одной из ведущих в поэзии Пушкина.

К числу произведений об «утаенной любви», безусловно, должно быть отнесено стихотворение «Война» (1821), навеянное известием о начале греческого восстания, в котором поэт намеревался принять участие. Задуманное как отклик на это событие, стихотворение, однако, стало лирической исповедью поэта: встающие в его воображении военные сцены совершенно неожиданно сменяются элгическими сетованиями, в них снова возникает мотив неизлечимой безумной страсти, забвенья от

<sup>4</sup> См. об этом: *Муравьева О. С.* Об особенностях поэтики пушкинской лирики//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. XIII. С. 21.

которой поэт готов искать в гуще битвы и на поле смерти. Трагическая безысходность этого чувства («злой отравы») духовно опустошает поэта:

Покой бежит меня, нет власти над собой,  
И тягостная лень душою овладела...  
Что ж медлит ужас боевой?  
Что ж битва первая еще не закипела?  
(II, 167)

В стихотворении «Друзьям» (1822) безудержное веселье дружеского пира не может заглушить «сердечной думы» о том, что на языке поэзии именуется «горем жизни скоротечной», т. е. о трагически окрашенном чувстве любви, которое живет в душе поэта. И лишь чаша с вином, наполненная до краев, дарует ему минутное забвенье. Показательно, что в стихотворении отсутствует реальный образ возлюбленной поэта, являющейся ему лишь в «снах любви». Этой емкой лирической формулой Пушкин подчеркивает иррациональность и хрупкость своего чувства.

В философских раздумьях лирического шедевра «Люблю ваш сумрак неизвестный» (1822) Пушкин находит еще одну выразительную деталь для передачи сложного и противоречивого духовного состояния, вызванного муками неразделенной любви и мыслями о неизбежном конце:

Минутных жизни впечатлений  
Не сохранит душа моя (<...>  
Тоску любви забуду я?..  
(II, 255)

Общая особенность анализируемых поэтических текстов заключается в том, что воссозданное в них лирическое переживание является следствием пережитой в прошлом душевной драмы, подробности которой остаются за рамками текста, хотя и составляют его психологическую основу. Это не рассказ о любви, а воспоминание о ней, заключенное в новую лирическую ситуацию.

У этого состояния, остро и эмоционально пережитого поэтом, по всей видимости, была реальная биографическая основа, что, собственно, и направляло усилия пушкинистов на поиски неведомого им адресата стихов об «утаенной любви» и на выяснение связанных с нею обстоятельств. К сожалению, эти поиски не сопровождались углубленными биографическими разысканиями, а ограничивались анализом тех или иных реалий лирического текста.

Так, М. О. Гершензон для доказательства своей гипотезы, что северной («утаенной») любовью Пушкина была М. А. Голицына, привлек две пушкинские элегии 1821 г. («Умолкну скоро я! Но если в день печали...» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...»). Он отметил текстуальные переключки первой из элегий с адресованным Голицыной мадригалом «Давно об ней воспоминанье...». Элегия завершается близкими ему по смыслу строчками:

Когда меня навек обьет смертный сон,  
 Над урною моей промолви с умиленьем:  
 Он мною был любим, он мне был одолжен  
 И песен и любви последним вдохновеньем.  
 (II, 208)

Между тем исследователь совершенно обошел вниманием то обстоятельство, что мадригал был написан два года спустя после создания элегии «Умолкну скоро я! Но если в день печали...», а не наоборот, и, следовательно, Пушкин вполне мог воспользоваться строками из неопубликованной элегии для эффектной концовки своего мадригала-экспромта, обращенного к М. А. Голицыной. Текстуальные переключки в данном случае не могут служить аргументом в пользу версии М. О. Гершензона. Одни и те же строки вполне могли иметь в виду разных адресатов. Переадресовка не только отдельных поэтических строк, но и целых стихотворений не столь уж редка в поэтической практике Пушкина. Достаточно вспомнить историю создания мадригала «Вы избалованы природой...», в первой редакции обращенного к А. А. Олениной, в окончательной — к Елизавете Ушаковой.

Второе из стихотворений («Мой друг, забыты мной следы минувших лет...») отнесено М. О. Гершензоном к М. А. Голицыной на том основании, что «оно хронологически тесно связано с первым», вследствие чего «их невозможно отнести к разным лицам: первое написано 23 августа, второе 24—25-го»<sup>5</sup>. Несостоятельность такого рода аргументации была раскрыта П. Е. Щеголевым, убедительно показавшим на основании скрупулезного анализа черновых и беловых редакций этих стихотворений, что стихи эти имеют в виду «крымское» увлечение поэта — юную Марию Раевскую, по мнению исследователя, и являющуюся «утаенной любовью» Пушкина<sup>6</sup>. Не касаясь существа этой новой версии «утаенной любви» поэта, заметим, что оба исследователя (Гершензон и Щеголев) по существу оста-

<sup>5</sup> Гершензон М. О. Северная любовь А. С. Пушкина. С. 290.

<sup>6</sup> Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина. С. 105.

вили без комментария основное содержание и смысл стихотворений, послуживших главным материалом, для выдвинутых ими версий. Между тем из текста как первой, так и второй элегии следует, что вопрос об их реальном адресате не имеет существенного значения для содержащегося в них мотива «утаенной любви». В элегии «Умолкну скоро я! Но если в день печали...» лирический сюжет строится на контрасте двух лирических тем: прежней, мучительной, неразделенной или несчастливой любви («...юноши, внимая молча мне,/Дивились долгому любви моей мученью») и любви взаимной, счастливой, отнюдь не утаенной («Позволь одушевить прощальной лиры звук/Заветным именем любовницы прекрасной»). Еще отчетливее звучит эта мысль в элегии «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...». Здесь прежнее мятежное и страстное чувство, данное поэту «в печаль и наслажденье», противостоит невинной и чистой любви, счастливой и взаимной. Обращаясь к юной возлюбленной, поэт восклицает:

Но ты, невинная! ты рождена для счастья.  
Беспечно верь ему, летучий миг лови:  
Душа твоя жива для дружбы, для любви,  
Для поцелуев сладострастья.

(II, 209)

Светлая, мажорная тональность стихотворения исключает самую возможность считать адресатом этих стихов женщину, которая внушила поэту мучительную страсть, духовно его опустошившую. Таким образом, в стихотворении два адресата — прямой, скорее всего указывающий (и в этом трудно не согласиться с П. Е. Щеголевым)<sup>7</sup> на Марию Раевскую, и потаенный, зашифрованный, не только не раскрытый, но тщательно оберегаемый от какой бы то ни было огласки. Единственное, что можно извлечь из текста элегии, это то, что чувство поэта к этой женщине было глубоко несчастливым. Для воссоздания такого чувства в распоряжении Пушкина была богатейшая художественная палитра мировой поэзии, в особенности романтической, прежде всего Байрон, властитель дум всего пушкинского поколения, и конечно же, Жуковский, «певец любви», певец своей печали». Характерно, что романтические образы, навеянные эпиграфией «песцу уединенному» из элегии «Сельское кладбище» и лирическими вариациями «Певца» Жуковского, оживают в пушкинском стихотворении «Гроб юноши», написанном почти одновременно с элегиями «Умолкну скоро я! Но если в день печали...» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...». Этот поздний «рецидив» элегического романтизма проецируется

<sup>7</sup> Там же. С. 107—115.

в мир интимных переживаний и воспоминаний поэта и окрашивает их в меланхолические тона, овеянные скорбью о несостоявшемся счастье. Строки об «утаенной любви» не только в этом, но и в других произведениях Пушкина обычно соседствуют и корреспондируют с мотивами изгнания, страдания, непонимания, разлуки и даже смерти. Мотивы эти определяют собою весь эмоциональный строй стихов об «утаенной любви».

М. О. Гершензону принадлежит заслуга включения в исследование проблемы «утаенной любви» южных поэм Пушкина. Он подчеркивает, что и «Кавказский пленник» (1822), и «Бахчисарайский фонтан» (1824) внушены «северной любовью» поэта: «Чудным светом озаряется для нас его творчество — мы нисходим до таинственных источников вдохновенья»<sup>8</sup>. В сущности к такому же выводу пришел и П. Е. Щеголев, подчеркивший, что герой элегий «Умолкну скоро я! Но если в день печали...» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...» «весьма близок к романтическому герою», а героиня этих элегий — к женским образам южных поэм Пушкина<sup>9</sup>. В них действительно отчетливо звучат те же элегические мотивы, оживают знакомые лирические образы. Пушкин, как известно, не отрицал автобиографических черт в характере Пленника. Соглашаясь с мнением одного из своих критиков, считавшего характер этого героя неудачным, Пушкин писал: «Доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения» (XIII, 52). В числе прочих автобиографических реалий Пушкин передал герою «Кавказского пленника» и «утаенную любовь». В первоначальном варианте (когда «Кавказский пленник» назывался еще поэмой «Кавказ») внутреннее состояние героя (а возможно, и автора) запечатлел напечатанный позднее как самостоятельное произведение элегический фрагмент «Я пережил свои желанья...» с его мотивами душевной опустошенности и сердечного страдания:

Под бурями судьбы жестокой  
Увял цветущий мой венец —  
Живу печальный, одинокий,  
И жду: придет ли мой конец?  
(II, 165)

В окончательном тексте поэмы эти настроения получают психологическую мотивировку:

Людей и свет изведал он  
И знал неверной жизни цену.

<sup>8</sup> Гершензон М. О. Северная любовь А. С. Пушкина. С. 297.

<sup>9</sup> Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина. С. 63.



В сердцах людей нашед измену,  
В мечтах любви безумный сон.

(IV, 95)

Намеченная в этих строках тема «утаенной любви» внутренне сопрягается с элегией «Погасло дневное светило...» и в свою очередь находит дальнейшее развитие в элегиях 1821—1822 гг.

Душевная опустошенность Пленника, невозможность расстаться с прежним чувством, с пережитыми им в прошлом горькими разочарованиями делают его неспособным ответить на любовь юной черкешенки:

Когда так медленно, так нежно  
Ты пьешь лобзания мои,  
И для тебя часы любви  
Проходят быстро, безмятежно;  
Снедая слезы в тишине,  
Тогда рассеянный, унылый  
Перед собою, как во сне,  
Я вижу образ вечно милый;  
Его зову, к нему стремлюсь,  
Молчу, не вижу, не внимаю;  
Тебе в забвеньи предаюсь  
И тайный призрак обнимаю.  
Об нем в пустыне слезы лью;  
Повсюду он со мною бродит  
И мрачную тоску наводит  
На душу сирую мою.

(IV, 106)

В этом монологе присутствуют все основные мотивы, составляющие лирический комплекс «утаенной любви», ее признаки, сквозные темы, особые поэтические образы («сон любви», «призрачное счастье», «тайные» страдания и т. п.) — одним словом, все то, что способствует поэтизации и романтизации этого чувства. И так же как в элегических сетованиях лирического героя, образ вдохновительницы этих строк заслоняется и в поэме страстной исповедальностью Пленника. В приведенном выше отрывке отчетливо видна литературная основа конфликта, определяющего взаимоотношения главных героев поэмы. Поэт не стремился к воссозданию реальной жизненной ситуации, но, отталкиваясь от нее, давал волю фантазии и воображению.

Нечто подобное произошло и с лирическим эпилогом «Бахчисарайского фонтана», в котором поэт за легкими тенями Марии и Заремы видит нежный образ все еще любимой им женщины:

Я помню столь же милый взгляд  
И красоту еще земную,  
Все думы сердца к ней летят,

Об ней в изгнании тоскую...  
 [Безумец!] полно! перестань,  
 Не оживляй тоски напрасной,  
 Мятежным снам любви несчастной  
 Заплачена тобою дань —  
 Опомнись; долго ль, узник томный,  
 Тебе оковы лобызать  
 И в свете лирою нескромной  
 Свое безумство разглашать?

(IV, 170—171)

Здесь впервые появляется (хотя и предельно лаконичная) «зарисовка» портрета любимой поэта, исполненная таинственности. Не совсем ясным представляется, например, выражение «И красоту еще земную», возможно указывающее на то, что красавица уже покинула этот мир, или же на «ангельские» черты ее внешности, постепенно заслоняющие ее реальный облик. Трудно согласиться с П. Е. Щеголевым, считающим, что строки эти имеют в виду Марию Раевскую: «Эта дева, мелькавшая по дворцу летучей тенью перед поэтом, сердце которого не могла тронуть в то время и старина Бахчисарая, — образ реальный и не мечтательный. Она была тут во дворце в один час с поэтом, и сердце его было полно ею»<sup>10</sup>. Скорее наоборот: образ мечтательный, поэтический (мелькнувший перед поэтом как милое наваждение, тень) заслоняет собою образ реальной вдохновительницы этих строк; если таковая и существовала в сознании поэта в момент работы над эпилогом поэмы. Разъяснение позиции Пушкина находим в его письме к брату из Одессы от 25 августа 1823 г.: «Здесь Туманский. Он добрый малой, да иногда врет — напр<имер>, он пишет в П.<етер>Б.<ург> письмо, где говорит, между прочим, обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille — любовь и пр... — фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!» (XIII, 67). Как видим, поэт настаивает на реальности этого чувства, хотя и пишет о своей влюбленности как об имевшей место в прошлом. Он избегает какого-либо намека на имя этой женщины, ибо письмо адресовано брату, не отличавшемуся особой скромностью в отношении творческих занятий и личных обстоятельств жизни поэта.

<sup>10</sup> Там же. С. 97.

Письмо явно рассчитано на оглашение в среде петербургских знакомых и, видимо, должно предупредить нежелательные толки вокруг автора «Бахчисарайского фонтана». В сущности никаких прямых указаний на время и обстоятельства знакомства и общения с этой («утаенной») возлюбленной поэта в письме не содержится, что заставляет усомниться в том, существовала ли она в действительности или же являлась автору поэмы лишь в чудесных грезах. Предположение это не кажется таким уж невероятным, если мы вдумаемся в заключительные строки процитированного нами письма: Пушкин в них весьма недвусмысленно напоминает, что темой его доверительного разговора с Туманским были вовсе не сердечные, а литературные дела. Он отрекается от роли Петрарки и боится показаться Шаликовым (т. е. смешно сентиментальным), предлагая и будущим читателям поэмы не искать в ней прямых аналогий с жизнью. И в самом тексте процитированного нами фрагмента эпилога система сопутствующих лирической героине оценок отсылает не к реальным событиям, а к игре воображения, к мечте («думы сердца», «мятежные сны любви» и т. п.). Это погружает читателя в зыбкую атмосферу недосказанности, недоговоренности, полунамёков. Извлечь «внятную» информацию из этого лирического отрывка не представляется возможным: пушкинский текст не дает оснований для идентификации лирической героини эпилога с Марией Раевской, которая присутствует в поэме совсем в другом качестве. Она является «внешней моделью» для создания портрета Заремы (по собственному признанию М. Н. Раевской, к ней относятся поэтические строки: «Ее пленительные очи/Яснее дня, темнее ночи»), и, кроме того, намек на сестер Раевских (в том числе и на Марию Раевскую) можно усмотреть в следующем лирическом отрывке из эпилога поэмы:

Младые девы в той стране  
 Преданье старины узнали,  
 И мрачный памятник оне  
 Фонтаном слез именовали.

(IV 169)<sup>11</sup>

С обоснованием иной точки зрения на расшифровку этих строк выступил Л. П. Гроссман, давший в работе «У истоков Бахчисарайского фонтана» свою версию «утаенной любви»

<sup>11</sup> Заметим, однако, что поэт явно колебался в выборе рассказчика предания: в одном из вариантов он отводил эту роль Николаю Раевскому (младшему): «Ты мне поведал (<...> сие печальное преданье» (IV, 394).

Пушкина и связанных с нею биографических реалий. Поставив под сомнение самую причастность не только Марии Раевской, но и ее сестер (и в первую очередь Екатерины Раевской, по мужу Орловой) к реалиям «Бахчисарайского фонтана», Гроссман попытался заново прочитать поэму в ином биографическом контексте. Он выдвинул на первый план проблему прототипа образа Марии, происходившей, по преданию, из рода Потоцких. Исследователь стремился увязать положенное в основу поэмы историческое предание с интересом Пушкина к одной из представительниц старинного аристократического рода Потоцких, с которой поэт познакомился в свои ранние петербургские годы.

Заявляя в самом начале статьи, что «объектом петербургской любви Пушкина („северной любви“, „отверженной любви“, „безумной любви“) следует признать Софью Станиславовну Потоцкую-Киселеву», Гроссман подробно характеризует свою героиню, ее мать, знаменитую красавицу-«фанариотку», Софью Константиновну Клавона, последним мужем которой стал граф Потоцкий. Увлекательно написанный, богато документированный очерк о родителях С. С. Потоцкой служит введением к истории ее отношений с Пушкиным, которая, несмотря на все усилия исследователя придать ей фактическую достоверность, выглядит надуманной и лишенной серьезной документальной основы. Из приведенных Гроссманом материалов (переписки Вяземского с Пушкиным и А. И. Тургеневым) с несомненностью следует, что в Потоцкую был влюблен Вяземский, а Пушкин сочувствовал увлечению друга, но не более того, ибо самый тон упоминаний Пушкина о Потоцкой (с некоторой долей фамильярности) не позволяет усмотреть в этих высказываниях никакого восторженного обожания, а главное, ее имя открыто называется в доверительно-дружеской переписке, что противоречит главному постулату «мифа» — утаенности имени женщины, в которую пламенно и безнадежно влюблен поэт. Между тем исследователь, приняв за исходное положение увлечение поэта юной Потоцкой, следующим образом характеризует «предысторию» «утаенной любви» Пушкина: «В зимний сезон 1818—1819 г. семнадцатилетняя Софья Станиславовна впервые стала выезжать на петербургские балы. Ее красота, сочетавшая яркую солнечность эллинского типа ее матери с утонченной задумчивостью славянского облика ее родственниц по отцу, вызвала всеобщее восхищение. Пушкин, всегда ценивший, по его собственному свидетельству, законченную красоту женских лиц, не мог пройти без внимания мимо молодой Потоцкой, уже вы-

завашей поклонение его друга Вяземского»<sup>12</sup>. Этих не подкрепленных никакими свидетельствами ни самого поэта, ни близких ему лиц общих соображений оказывается достаточно, чтобы перейти уже в следующем абзаце статьи к столь же голословному и категорическому утверждению: «Мы не можем внести с календарной точностью в хронологическую канву жизни Пушкина дату того дня или вечера, когда Софья Потоцкая рассказала ему свою любимую крымскую легенду», т. е. легенду о любви крымского хана Керим Гирея к похищенной им польской красавице Потоцкой, но такая встреча, по мнению Гроссмана, состоялась еще в Петербурге. Исследователь не приводит никаких доказательств того, что крымская легенда была известна Потоцкой (об этом можно говорить лишь предположительно), что эта легенда была «любимой легендой» Потоцкой и, наконец, что именно она рассказала ее и Пушкину, и Вяземскому. Тем не менее Гроссман не сомневается в том, что «в 1818—1819 годах между ними (т. е. между Пушкиным и Потоцкой. — Р. И.) происходила такая беседа, отметившая важную веху в литературной летописи поэта». Однако творческая история поэмы не дает оснований для подобной датировки замысла, как известно, уходящего своими корнями в крымское путешествие Пушкина 1820 г. Начатая весной 1821 г., поэма писалась в течение всего 1822 г. и лишь осенью 1823 г. была окончательно завершена. Гроссман же относит эту работу к более раннему времени, утверждая, что взяты в 1818 г. за написанные поэмы Пушкину мешало «отсутствие цельного душевного опыта для творческой разработки такой темы», а «возникшее чувство к Софье Потоцкой еще не развернулось и не завершило цикла своего драматического развития»<sup>13</sup>. Цикл этот, по мне-

<sup>12</sup> Гроссман Л. П. У истоков «Бахчисарайского фонтана». С. 56, 61. Не следует, однако, пренебрегать прямыми отсылками Пушкина к «Путешествию по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола, выписки из которого, сделанные поэтом, содержат и рассказ о Керим Гирее и его любви к прекрасной «грузинке» с соответствующим комментарием автора: «Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем» (IV, 175). Это заявление поэта, по-видимому, делает излишними ссылки на Потоцкую как на вдохновительницу «Бахчисарайского фонтана», ибо в данном случае мы имеем дело с конкретными указаниями самого Пушкина, тогда как Л. П. Гроссман прибегает к догадкам и косвенным свидетельствам. Крымская легенда была широко известна в тех местах, по которым вместе с Раевским путешествовал Пушкин, и, видимо, не надо было быть Потоцкой, чтобы услышать и пересказать ее поэту.

<sup>13</sup> Гроссман Л. П. У истоков «Бахчисарайского фонтана». С. 61, 77.

нию исследователя, и составляет биографическую основу «утаенной любви» Пушкина<sup>14</sup>.

Работа Гроссмана — один из наиболее показательных примеров того, как обширная эрудиция и блестящее литературное мастерство автора способны заставить читателя поверить самым, казалось бы, невероятным и неожиданным предположениям насчет предмета «утаенной любви» Пушкина. Вместе с тем эта же статья нагляднее всего раскрывает пути формирования пушкиноведческой легенды и создания легендарного образа возлюбленной поэта.

Подтвердим наш вывод еще одним фактом произвольного, с нашей точки зрения, толкования пушкинского текста. В так называемом «Отрывке из письма» поэт рассказывает: «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К\*\* поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*». Он замечает, что не вспоминал о памятнике «ханской любовницы», (а следовательно, и о рассказе К\*\*), «когда писал свою поэму» (IV, 176). Для исследователя, увлеченного своей версией «утаенной любви», этого оказывается достаточно, чтобы увидеть в К\*\* Потоцкую-Киселеву, хотя пушкинский «Отрывок» не дает оснований для подобного категорического утверждения. Напротив, общий контекст «Отрывка» с прямым упоминанием Н. Н. Раевского при описании посещения Бахчисарая делает более убедительным мнение исследователей, считающих, что К\*\* — это Екатерина (Катерина) Раевская, с которой, как известно, связано множество крымских впечатлений, отразившихся в лирике поэта. В «Отрывке» отчетливо просматривается стремление провести резкую грань между реальными событиями (знакомство с главной достопримечательностью Бахчисарая — ханским дворцом и фонтаном слез, поэтический рассказ К\*\* о фонтане слез) и литературой, которая, как подчеркивает поэт, подчиняется своим собственным законам и далеко не всегда управляема впечатлениями извне.

Стремлением резко отграничить «поэзию» от «правды» отмечена полемика Пушкина с А. А. Бестужевым в связи с публикацией элегий «Редет облаков летучая гряда...» (1820) в альманахе «Полярная звезда». Посылая стихи издателю альманаха

<sup>14</sup> Исследователь подкрепляет свою версию еще одним соображением хронологического свойства. Осенью 1823 г. у сестры Ольги Нарышкиной в Одессе гостили Киселевы: «В эти месяцы пишутся знаменитые строки (т. е. эпил. — Р. И.), которые сам поэт называл любовным бредом» (Там же. С. 64).

Бестужеву, Пушкин просил его не публиковать трех последних строк, содержащих намеки на адресата <sup>15</sup>:

Когда на хижины сходила ночи тень —  
И дева юная во мгле тебя искала  
И именем своим подругам называла.

(II, 157)

Однако вопреки его просьбе стихотворение было напечатано полностью. Упрекая Бестужева в нарушении авторской воли, Пушкин требует от него неукоснительного соблюдения «тайны» адресата лирических стихов. В черновике письма Бестужеву от 12 января 1824 г., как справедливо отметила Я. Л. Левкович <sup>16</sup>, промелькнул образ женщины, которой посвящены стихи: «...они [писаны] относятся к женщине — которая первая прочитала их, я просил!» (XIII, 386). Однако в окончательный текст письма строки эти не попали — с тем, однако, чтобы приобрести самостоятельное значение в одном из следующих писем Бестужеву (от 29 июня 1824 г., в котором подробно разъясняется этическая сторона вопроса): «...приятельское ли дело вывешивать напозказ мокрые мои простыни? Бог тебя простит! но ты осрамил меня в нынешней Звезде (т. е. в „Полярной Звезде“ на 1824 г. — *Р. И.*) — напечатав 3 последние стиха моей Элегии; черт дернул меня написать еще к стати о Бахч.<исарайском> фонт.<ане> какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же мою элегическую красавицу» (XIII, 100). В черновике вместо «тут же» стояло «ту же» — поправка в беловике далеко не случайная, ибо в эпилоге поэмы не один, а два лирических адресата. Первый из них указывает на вполне реальное лицо (М. Н. Раевскую), второй имеет в виду «утаенную любовь» к неизвестной нам женщине («элегической красавице»).

Проблема адресата — важнейшая для лирики Пушкина вообще и для любовной в особенности. Имеет она существенное значение и для нашей темы, хотя в данном случае, как мы могли убедиться, поэт сознательно отказывается от намеков на конкретное лицо. Видимо, эта последняя особенность некоторых произведений Пушкина позволила одному из исследователей

<sup>15</sup> Этим лицом Б. В. Томашевский (в чем с ним трудно не согласиться) считает Екатерину Раевскую: «По-видимому, описанная картина: девушка, показывающая на определенную звезду и называющая ее своим именем, — заключала в себе известную близким отличительную примету одной из дочерей Раевского». Исследователь опирается на свидетельство М. Ф. Орлова, писавшего жене (Екатерине Раевской-Орловой): «...воображаю тебя близкой всякий раз, как вижу достопамятную звезду, которую ты мне указала» (*Томашевский Б. В.* Пушкин. 2-е изд. М., 1990. Т. 2. С. 107).

<sup>16</sup> См.: *Левкович Я. Л.* Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 276.

пушкиноведческого мифа об «утаенной любви» прийти к следующим выводам: любовные стихи Пушкина, считает Г. П. Макогоненко, «можно разделить на две группы. В одну входят стихи, прямо или косвенно обращенные к какой-нибудь определенной, названной или откровенно подразумеваемой жешине, например, „К\*\*\*“ („Я помню чудное мгновенье...“), лично переданное адресату — А. П. Керн, или „Что в имени тебе моем...“, записанное в альбом К. Собаньской.

Ко второй группе принадлежат глубоко интимные любовные стихотворения, потрясающие искренностью выраженных в них чувств, но написанные с позиций, не допускающих какого-либо биографического комментария, поиска адресата: все, что нужно читателю авторского замысла, содержится в самом поэтическом строе стихотворения, в его образной структуре»<sup>17</sup>. Стихи об «утаенной любви», согласно этой классификации, принадлежат ко второй группе любовной лирики и не нуждаются ни в каком биографическом комментарии.

Несмотря на столь категорично выраженное мнение, исследователь не избежал соблазна попытаться вполне конкретно охарактеризовать ту, которая была адресатом стихов об «утаенной любви», хотя и отказался от поисков «идеальной подружки гения» среди вполне реальных лиц.

\*  
\*       \*  
\*

Еще первыми исследователями, обратившимися к теме «утаенной любви», были определены строгие хронологические границы возникновения и функционирования в поэзии Пушкина особого комплекса лирических мотивов, образов и тем, охватывающих в своей совокупности широкий круг произведений преимущественно южного и отчасти одесского периода. Однако в работах последующего времени, в особенности в новейших, есть немало примеров произвольного толкования понятия «утаенности», стремления выйти за рамки данного периода жизни Пушкина и применить это понятие к произведениям более позднего времени, когда, на наш взгляд, тема «утаенной любви» утратила для Пушкина свое прежнее значение. Подобные расширительные тенденции можно наблюдать на примере работ, которые посвящены трем одесским увлечениям поэта, в разной степени соотносимых с «утаенной любовью». Первое из них, отразившееся в ряде лирических стихов осени 1823 — начала 1824 г., подробно охарактеризовано в статье П. Е. Щеголева

<sup>17</sup> Макогоненко Г. П. «...Счастье есть лучший университет». С. 178.



«Амалия Ризнич в поэзии А. С. Пушкина». Здесь предпринята попытка установить круг произведений, относящихся к этой женщине<sup>18</sup>. Кратковременная, но бурная вспышка страсти к «негоциантке молодой» оставила тем не менее глубокий след в душе поэта. Ранняя смерть Амалии Ризнич придала этому чувству трагический оттенок, и лишь известие о казни декабристов, полученное одновременно с вестью о кончине Ризнич, на время отодвинуло это чувство на второй план. Все это отразилось в истории создания элегии 1826 г. «Под небом голубым страны своей родной...». Однако уже в черновых строфах «Воспоминания» (1828) этот прекрасный женский образ оживает вновь:

Я слышу вновь друзей предательский привет  
 На играх Вакха и Киприды,  
 Вновь сердцу наносит хладный свет  
 [Неотразимые обиды] (<...>  
 И нет отрады мне — и тихо предо мной  
 Встают два призрака младые  
 Две тени милые — две данные судьбой  
 Мне ангела во дни былые —  
 Но оба с крыльями и с пламенным мечом —  
 И стерегут — и мстят мне оба (<...>  
 И оба говорят мне мертвым языком  
 О тайнах счастья и гроба  
 (III, 654—655)

Наблюдения П. Е. Щеголева, предположившего вслед за П. В. Анненковым, что под одной из «двух теней милых» следует подразумевать Амалию Ризнич, необходимо дополнить некоторыми предположениями насчет другого женского образа.

Нет ни малейшего сомнения в том, что «оба призрака» — реальные, а не вымышленные лица: это две умершие возлюбленные поэта. И если в отношении Амалии Ризнич вопрос может считаться окончательно решенным<sup>19</sup>, то о второй возлюбленной конкретных предположений высказано не было. Очевидно, ею могла быть молодая женщина или девушка, влюбившая поэта страстное чувство и ко времени написания «Воспоминания» уже умершая. Полагаем, что поэт вспоминал о «гречанке» Калипсо Полихрони, романтическое увлечение которой он пережил в Кишиневе. Ей, как известно, адресовано стихотворение «Гречанке» («Ты рождена воспламенять...») (1822), а также альбомный мадригал «Иностранке» (1822) (в черновом автографе тоже

<sup>18</sup> См.: Щеголев П. А. Амалия Ризнич в поэзии А. С. Пушкина // Вестн. Европы. 1904. № 1. С. 305—327.

<sup>19</sup> См.: Левкович Я. Л. «Воспоминание» // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х гг. Л., 1974. С. 115.

озаглавленный «Гречанке»). Мадригал этот был переписан Пушкиным из тетради ПД, № 834 в тетрадь ПД, № 833 под заглавием «В альбом иностранке». Содержание стихотворения не оставляет сомнения в том, что чувство поэта к экзотической красавице, которая, по воспоминаниям близко знавших Пушкина лиц, была возлюбленной Байрона, носило искренний и глубокий характер:

Мой друг, доколе не увяну,  
В разлуке чувство погубя,  
Боготворить не перестану  
Тебя, мой друг, одну тебя  
(II, 271)

Имя Калипсо Полихрони находится и в так называемом «донжуанском списке» Пушкина (о котором скажем позднее), что также свидетельствует о пылком чувстве, надо полагать, взаимном. В 1821—1822 гг., в период знакомства и общения Пушкина с Калипсо Полихрони, ей было 17 лет. В 1827 г. она скончалась. В одном из вариантов белого автографа стихотворения «Иностранке» (ПД, № 834, л. 1—1 об.) поэт обращается к возлюбленной:

Верь ангел сердцу моему  
Как нынче веришь ты ему  
(II, 786)

Это обращение («ангел») несет в себе не только назывную, но и оценочную функцию, указывающую на целый комплекс возвышенных свойств женской натуры (ее «ангельские» черты).

Подобное восприятие облика адресата позволяет сравнить эти строки с соответствующими черновыми строфами «Воспоминания» и увидеть в одной из «теней милых» Калипсо Полихрони. Если наше предположение справедливо, то есть основания отнести к ней (а не к Амалии Ризнич) «Заклинение» — один из шедевров болдинского лирического цикла 1830 г. («Прощанье», «Заклинение» и «Для берегов отчизны дальней...»). В адресованном Полихрони стихотворении «Гречанке» («Ты рождена воспламенять...») Пушкин прямо уподобляет красавицу-гречанку байроновской Леиле (героине «Гяура»), разъясняя в белом тексте (ПД, № 4), как нужно правильно произносить название этой поэмы: «Гяур (а не Д~~ж~~аур, как пишут некоторые)» (II, 769). Видимо, далеко не случайно Леилой названа и героиня «Заклинения».

Этот довольно пространственный экскурс понадобился нам для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что лирическая поэзия Пушкина скрывает множество тайн и загадок, но далеко не каждая

из них связана с проблемой «утаенной любви». Ни Ризнич, ни Калипсо Полихрони, при всей значительности отношений с ними для творчества Пушкина, не соотносятся с теми лирическими контекстами, в которых выражает себя «утаенная любовь».

Лишь отчасти соприкасаются с ними и стихи «воронцовского цикла», анализу которых посвящена исчерпывающая по материалу статья Т. Г. Цявловской «Храни меня, мой талисман». Прослеживая свидетельства постепенного зарождения чувства Пушкина к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой от первых набросков ее портретов в его рабочих тетрадях и отдельных стихотворных строк с полупризнаниями до драматически напряженных и страстных, трагически окрашенных лирических шедевров, Т. Г. Цявловская, не прибегая к термину «утаенная любовь», по существу анализирует историю этой любви как любви «утаенной». Разумеется, это чувство требовало соблюдения тайны, ибо возлюбленных разделяли семейное положение Елизаветы Ксаверьевны и ее положение в одесском свете. Однако в обращенных к ней стихах отчетливо звучат не только мотивы тайны, но и угасания, обреченности, даже смерти, в чем нельзя не усмотреть воздействия не столько жизненных, сколько литературных импульсов. Появление здесь лирических мотивов и тем, воссоздающих ситуацию вечной разлуки («могильный сумрак», «овдовевшая супруга», «твой друг угас» — в «Прощанье», неожиданной строки «Все в жертву памяти твоей» в одноименном стихотворении), породило немало недомыслий и попыток вывести эти стихи за пределы воронцовского цикла на том основании, что подобные строки не могли относиться к живой женщине. Между тем любовь запретная, скрываемая, безнадежно трагическая требовала особых приемов и форм для своего выражения. В лирике предшествующих лет такие приемы были выработаны применительно к ситуации «утаенной любви». Отсюда и точки соприкосновения стихов воронцовского цикла с лирическими вариациями на тему «утаенной любви». Но не менее важно, что в этих же стихах осязимо стремление перейти от условных, воображаемых переживаний к чувствам подлинным и глубоким. «Утаенная любовь» из области «предполагаемых чувств в предполагаемых обстоятельствах» становится живой реальностью. Такова логика творческого развития величайшего из русских лириков.

Т. Г. Цявловская «разгадала» еще одну сердечную тайну поэта, относящуюся к его одесской жизни. Героиней этого поэтического «детективного» романа Пушкина стала Каролина Адамовна Собаньская, урожденная графиня Ржевуская (1794—1885). Первым исследователем, указавшим на нее как на адресата двух любовных писем Пушкина начала 1830 г., был одес-

ский пушкинист А. М. Де-Рибас<sup>20</sup>. «Одна из самых блистательных красавиц польского общества русского юга», женщина со сложной судьбой и далеко не безупречной репутацией (почти официально находившаяся в любовной связи с известным генерал-лейтенантом, графом О. И. Виттом, приобщившим ее к политическому сыску, о чем, разумеется, Пушкин не мог знать), Каролина Собаньская познакомилась с Пушкиным, по собственному его признанию, 2 февраля 1821 г. (в день святого Валентина, день всех влюбленных). Однако настоящее знакомство, переросшее в постоянное общение, состоялось уже в Одессе и далеко не сразу перешло со стороны Пушкина в увлечение. Повидимому, на первых порах Пушкин встречался с Собаньской в кругу одесского светского общества (хотя пренебрегавшая светскими условностями Каролина была принята далеко не во всех аристократических домах Одессы). В откровенном письме к А. Н. Раевскому от 15—22 октября 1823 г. Пушкин пишет, что «страсть его очень уменьшилась», так как он «влюбился в другую», т. е. в Амалию Ризнич (XIII, 70). И только после разрыва с последней и отъезда ее на лечение за границу (где-то в начале мая 1824 г.) Пушкин снова обратился к Собаньской. Не о ней ли идет речь в датированной 18—19 мая 1824 г. загадочной помете «Veux tu m'aimer» под беловым автографом стихотворения «В альбом иностранке» в одной из рабочих тетрадей Пушкина (ПД № 833, л. 26)? В переводе помета гласит: «Хочешь ли ты любить меня?» — и содержит аббревиатуру «pl. v. D.».

Содержание стихотворения, о котором уже шла речь, и смысл пометы делают совершенно невероятным отнесение ее к Дегильи<sup>21</sup>, кишиневскому знакомому Пушкина, ссора с которым едва не дошла до дуэли. Нет ни малейшего сомнения в том, что помета имеет в виду женщину, к которой и обращен этот вопрос (а точнее, жалоба, сетование: *plainte*), по-видимому как-то увязанный со смыслом поэтического текста. Стихи, обращенные, как мы предполагаем, к Калипсо Полихрони в 1822 г., были переписаны в ПД № 833 в белой редакции примерно тогда же. Запись же датирована маем 1824 г., когда отношения с прекрасной гречанкой стали уже прошлым, а самые стихи, адресованные «Иностранке», могли прозвучать как мадригал новому (уже «одесскому») увлечению поэта. Дата 18—19 мая полностью исключает Амалию Ризнич, к этому времени поки-

<sup>20</sup> См. об этом: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.: Л., 1935. С. 185.

<sup>21</sup> См.: Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 244. Ср.: Рукою Пушкина. С. 301.

нувшую Одессу, а также и Е. К. Воронцову (в эти дни отсутствовавшую в городе и никак не подходившую в качестве нового адресата стихотворения «Иностранке»). Полагаем, что помета имеет в виду Собаньскую, чистокровную полячку, а аббревиатура «v» и «D» может означать «виконтессе», т. е. графине, «Д.». «Д.» — Джованна — имя, которым называла себя Собаньская (именно этими инициалами — точнее, «Д. Д.» («донна» вместо «виконтесса») — помечены посвященные ей сонеты А. Мицкевича из его книги «Крымских сонетов»). Видимо, посвящение Собаньской альбомного мадригала не состоялось, а развитие и углубление чувства к Воронцовой погасило начавшийся было «флирт» с Собаньской, весьма опасной кокеткой. Подробное описание отношений поэта с этой интереснейшей его современницей дает в своей статье М. И. Яшин, вернувшийся к версии «утаенной любви» Пушкина как любви к Собаньской. Увлеченный своей версией, автор собрал большой и разнообразный материал о Собаньской, дополнив некоторыми интересными документами ту сводку материалов о ней, которую дает Т. Г. Цявловская<sup>22</sup>. Но, оказавшись в плену своей версии, М. И. Яшин весьма некритически отнес к Собаньской почти всю любовную лирику одесского периода, отдав щедрую дань расширительному применению легенды об «утаенной любви» Пушкина<sup>23</sup>. Между тем не подлежит сомнению, что одесские встречи поэта с Собаньской не были началом глубокого чувства, они стали лишь основой бурного «рецидива» старого увлечения, вспыхнувшего в самом конце 1820-х годов, когда судьба снова свела Пушкина и Собаньскую в Петербурге. К этому времени относятся посвященные Собаньской стихотворение «Что в имени тебе моем? . . .» (1830), записанное в ее альбом<sup>24</sup>, и, по всей вероятности, стихотворение «Когда твои молодые лета. . .» (1828), связываемое обычно с А. Закревской. Т. Г. Цявловская подробно доказывает, что оно посвящено Собаньской: оба стихотворения, считает она, «написаны в одном ключе», имеют текстуальные переклички, а главное, близки хронологически. В списке стихотворений, «составлявшемся Пушкиным в апреле 1830 г. для готовящегося издания», стихотворения стоят рядом<sup>25</sup>.

К. Собаньская, оставив заметный след в лирике и письмах Пушкина, не могла быть и, разумеется, не была «утаенной лю-

<sup>22</sup> Рукою Пушкина. С. 198—208.

<sup>23</sup> См. упомянутую выше статью М. И. Яшина «Итак, я жил тогда в Одессе».

<sup>24</sup> Подробнее см.: *Базилевич В.* Автограф «Что в имени тебе моем?» // *Литературное наследство.* М., 1934. Т. 16—18. С. 879.

<sup>25</sup> См.: Рукою Пушкина. С. 207. Автографы — ПД, № 515 и 716.

бовью» поэта, хотя дала жизнь еще одной пушкиноведческой легенде. Далеко не случайно это имя отсутствует в так называемом «дон-жуанском списке» Пушкина, на котором следует остановиться особо.

По просьбе московских приятельниц Пушкина Ушаковых в альбоме младшей из сестер, Елизаветы<sup>26</sup>, поэт записал два списка женских имен, которые с легкой руки П. С. Киселева (брата будущего мужа Елизаветы Николаевны Киселевой-Ушаковой) получили название «дон-жуанского списка» Пушкина, иными словами «перечня всех женщин, которыми он увлекался». «Альбом этот, — пишет Т. Г. Цявловская, — очень своеобразен; в нем писали и рисовали и сестры Ушаковы, и Пушкин». Он обращался к записям в альбоме дважды: весной 1829 г. и осенью того же года<sup>27</sup>.

В списках женщины, которыми увлекался поэт, названы лишь по именам, и это создает дополнительные трудности для комментирования этих записей. Некоторые имена до сих пор остаются нерасшифрованными<sup>28</sup>. По справедливому замечанию Я. Л. Левкович, в первый список вошли те, кто внушил ему глубокое или страстное чувство, во второй, составленный, по видимому, позднее (т. е. осенью 1829 г.), попали те, кто не оставил глубокого следа в его душе, хотя и вдохновил его на создание лирических стихов, альбомных мадригалов и т. п.

В центре нашего внимания, естественно, оказывается первый список: не только потому, что именно в него вошли многие из женщин, которые, по мнению пушкинистов, могли быть предметом «утаенной любви», но и потому, что он содержит тщательно зашифрованное литерами «N N» женское имя, которое

<sup>26</sup> Рукою Пушкина. С. 629—630.

<sup>27</sup> Там же. С. 630. Списки также составлялись в два приема. Подробнее об этом см. комментарий Я. Л. Левкович в готовящейся к изданию книге: Автобиографическая проза Пушкина.

<sup>28</sup> Первый полный академический комментарий этих записей дала Т. Г. Цявловская (см.: Рукою Пушкина. С. 631—637; ср. также комментарий Б. В. Томашевского в кн.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. VIII. С. 371—372). Нельзя, разумеется, пройти мимо тех расшифровок так называемого «дон-жуанского списка», которые принадлежат автору специальной монографии на эту тему П. К. Губеру («Дон-жуанский список Пушкина». Пг., 1923). В предлагаемой автором концепции творческого развития Пушкина нельзя не увидеть некоторых особенностей философско-эстетического сознания 1920-х годов, когда получили широкую популярность идеи З. Фрейда. Губер обращает в своей книге особое внимание на изначально, по его мнению, свойственную пушкинской натуре «необыкновенную быструю чувственность и нервную возбудимость» (С. 19), на «повышенную эротическую чуткость и отзывчивость Пушкина» (С. 20). В «Дон-жуанском списке» исследователь видит «длинный список женщин», вызвавших у поэта эмоции сугубо эротического свойства, с чем, конечно, трудно согласиться.

поэт не раскрыл ни своим московским приятельницам, ни другим (возможным) читателям этих записей. Литеры эти стоят между именами «Катерина II» (в ней большинство комментаторов видят Екатерину Андреевну Карамзину, жену писателя, бурное увлечение которой Пушкин пережил в лицейские годы) и «Княгиня Авдотья» (т. е. Голицына), в которую поэт влюбился по выходе из Лицея, уже в Петербурге, осенью 1817 г.

Приведем текст этого списка полностью:

Наталья I  
 Катерина I  
 Катерина II  
 N N  
 Кн. Авдотья  
 Настасья  
 Катерина III  
 Аглая  
 Калипсо  
 Пульхерия  
 Амалия  
 Элиза  
 Евпраксия  
 Катерина IV  
 Анна  
 Наталья <sup>29</sup>.

Положение загадочных литер в списке весьма наглядно свидетельствует в пользу «утаенной любви» и еще в большей степени — в пользу любви «северной», ибо список, начатый скорее всего именем Натальи Кочубей (будущей Строгановой) и завершающийся Натальей Николаевной Гончаровой, выстроен в строго хронологическом порядке. По мнению Т. Г. Цявловской, под литерами «N N» скрывается «неизвестная нам женщина», «предмет „северной“ мучительной любви, может быть, безответной, во всяком случае, как-то оборвавшейся». Исследовательница идет в своих предположениях дальше, заявляя: «...возможно, что она рано умерла, и ее могилу посетил Пушкин, вернувшись в Петербург в 1827 или 1829 году»<sup>30</sup>. Еще раньше Т. Г. Цявловская увидела отражение любви поэта к этой неизвестной NN в черновых строфах «Воспоминания» и в «Заклинании»<sup>31</sup>.

Между тем очевидно, что загадочная женщина (если N N не мистификация со стороны поэта) встретила его сразу же после окончания Лицея, но еще до знакомства с Е. И. Голицыной, относящегося к ноябрю 1817 г. Такой вывод напрашивается из анализа первого списка. Тогда ею могла быть (утвер-

<sup>29</sup> ПД, № 1723.

<sup>30</sup> Цявловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман». С. 68.

<sup>31</sup> См.: Рукою Пушкина. С. 631—632.

ждать это категорически, разумеется, нельзя) героиня нашумевшей истории, случившейся в 1817 г. в Коломне, где по окончании Лицея поселился у родителей Пушкин, а именно семнадцатилетняя красавица Екатерина Буткевич, выданная замуж за семидесятилетнего богача, графа В. В. Стройновского. Работа над поэмой «Руслан и Людмила», считает новейший ее исследователь, поэт воспользовался некоторыми деталями истории замужества Екатерины Буткевич. В тексте поэмы он усмотрел множество намеков на отталкивающую личность престарелого жениха, а в похищении карлой Черномором юной Людмилы увидел отзвуки вполне реальных событий<sup>32</sup>. Позднее, в «Домике в Коломне» (1830), Пушкин вернется к своим юношеским переживаниям и создаст сцену посещения графиней Покрово-Коломенской церкви:

Туда, я помню, ездила всегда  
Графиня... (звали как, не помню, право).  
Она была богата, молода;  
Входила в церковь с шумом, величаво;  
Молилась гордо (где была горда!)  
Бывало, грешен, все гляжу направо,  
Все на нее...

(V, 88)

Реплика автора «Домика в Коломне» — „(звали как, не помню, право)“ — дает, полагаем, некоторые основания считать, что в момент составления списка, в 1829 г., Пушкин действительно не припомнил, а может быть, и не захотел назвать имени той женщины, «романтическое» чувство к которой возникло в ранней юности и стало одним из дорогих его сердцу петербургских воспоминаний, давших начало поэзии «утаенной любви». Остальное довершили воображение и фантазия, ибо, по нашему глубокому убеждению, «утаенная любовь» была не столько выражением реального чувства поэта к реальной женщине, единственной и глубокой его страсти, сколько художественным воссозданием определенного эмоционально-психологического состояния, которое он позднее в «Путешествии Онегина» емко и точно обозначит как «безымянные страданья» и теснейшим образом свяжет их с романтической порой своего творчества:

В те поры, мне казались нужны  
Пустыни, волн края жемчужны,  
И моря шум, и груды скал,  
И гордой девы идеал,  
И безымянные страданья...

(VI, 200)

<sup>32</sup> См.: *Матвеевский Б.* Прообраз карлы Черномора//Пушкинский праздник. 1989. 22 мая — 7 июня. С. 11.



Эти настроения выразилась и в лирических фантазиях «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824). Здесь мы находим наиболее целостное воплощение этого во многом воображаемого идеала, который вобрал в себя лучшие черты близких ему современниц, неуловимо присутствующие в каждой из них — и ни в ком полностью. «Утаенная любовь» — мечта поэта, то, что он искал в «подругах тайных» своей весны, чем очаровывался и из-за чего страдал. О ней, безымянной любви, вдохновенно мечтает поэт:

Она одна бы разумела  
Стихи неясные мой;  
Одна бы в сердце пламенела  
Лампадой чистою любви!  
(II, 328—329)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

# ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ О ПУШКИНЕ



Санкт-Петербург  
ГУМАНИТАРНОЕ АГЕНТСТВО  
"АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ"  
1995